

Меч херувима

ЙОЭЛЬ РЕГЕВ

1

А



CCUPY theology! — этот лозунг¹, пожалуй, мог бы стать девизом той борьбы за имманентный захват теологического, одним из кульминационных моментов которой является вторая книга Квентина Мейясу². Только экспроприация внутреннего ядра теологии позволит материализму сделаться настоящим материализмом: «Число и сирена» со всей очевидностью демонстрирует, что проект спекулятивного преодоления корреляционизма движим этим тезисом не в меньшей степени, нежели «борьба за христианское наследие» Жижека или «материализм благодати» Бадью.

Необходимо изъять у теологии тот стратегический ресурс, которым она все еще обладает и который придает ей жизненные силы, создавая условия для всякого рода «теологических поворотов» и делая возможной ситуацию, в которой теолог оказывается куда большим материалистом, нежели атеист. В Боге действительно есть нечто большее, нежели сам Бог, — и именно это большее и должно стать объектом имманентной экспроприации. Целью предпринимаемой Мейясу интерпретации «Броска костей» и является попытка показать, что такого рода экспроприация была осуществлена Малларме — «стертым пророком» и «конstellационным Христом» имманентной современности.

1. Ср.: *Watkin Ch. Difficult Atheism — Post-Theological Thinking in Alain Badiou, Jean-Luc Nancy and Quentin Meillassoux*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. P. 12. «Оккупация территории теизма» представителями «посттеологической мысли» (к которым Уоткин причисляет, наряду с Мейясу, Бадью и Нанси) противопоставляется здесь «колонизации атеизма» представителями «теологического поворота» в философии.
2. *Meillassoux Q. Le Nombre et la sirène — Un déchiffrement du «Coup de des» de Mallarmé*. Paris: Fayard, 2011.

В

Однако еще со времен фейербаховской критики Гегеля отлично известно: тот, кто пытается оккупировать теологию, рискует в один прекрасный момент обнаружить, что теология оккупировала его самого. То, что представлялось освобождением, может оказаться всего-навсего переводом пенитенциарной системы на более эффективный режим функционирования. Это, впрочем, совсем не значит, что следует отказаться от проекта освобождения как такового, это означает только, что следует стремиться к максимальной точности в проведении границы между узником и тюрьмой.

Где именно проходит черта, позволяющая отделить революционные массы божественного от подавляющей их реакционной божественной идеологии? Книга Мейясу, возможно, наиболее ясно формулирует ответ на этот вопрос — ответ, который в своей формальной основе является общим для всей «материалистической теологии» последних лет. Точно так же, как и в случае Жижека и Бадью, внутренним ядром теологического, освобождаемым от цепей трансцендентного, оказывается механизм по производству имманентного невозможного — система, обеспечивающая условия для данности неданного как такового.

Однако для того, чтобы материалистическая оккупация теологии увенчалась успехом, недостаточно высвободить внутреннее ядро теологии; необходимо это ядро расщепить. Мы попытаемся продемонстрировать здесь, что, хотя «Число и сирена» и не производит подобного расщепления, внутреннее напряжение между неразличаемыми элементами «первосоединенного» теологического ядра достигает здесь уровня, делающего дальнейший распад неизбежным.

2

А

Именно механизм «диффузии абсолюта», обеспечивающий данность неданного как такового, и есть то «сокровище», имманентизирующая экспроприация которого у теологии осуществляется поэмой Малларме. Искусство, претендующее на духовное господство, должно заменить собой религию, но для этого ему необходимо овладеть тем особым модусом «евхаристического присутствия» абсолюта, который составляет самую сердцевину богослужения. В противоположность драме месса не репрезентирует реальность прошлого, не воспроизводит вновь произошедшее когда-то; божественное реально и положительно при-

сутствует в пресуществляемых святых дарах. Однако это еще и не полное возвращение Сына Человеческого во славе, ожидающееся в будущем. Присутствие абсолюта в таинствах — это «присутствие в отсутствии», данность неданного как такового³.

Проблема католицизма состоит в том, что он не способен повернуться лицом к этому модусу присутствия абсолютного, который составляет самую его суть; существенное представляется ему несущественным, а несущественное существенным. Реальность отсутствующего присутствия абсолюта в мессе признается, но лишь постольку, поскольку она черпает свою субстанциальность из трансцендентного — необходимого сущего, которое было налично когда-то и будет налично в обещанном грядущем. Фальшивая идеология теологического мешает ему дать отчет о его же собственной практике; задачей искусства является присвоить себе эту практику и утвердить реальность отсутствующего присутствия божественного как единственно субстанциальную и первичную, не нуждающуюся в каких бы то ни было поддержке и обосновании.

В

Реальность данной неданности и есть подлинная реальность; более того, в такой реальности нет ничего отрицательного. Восприятие ее как некоторого рода «нехватки» свидетельствует лишь о нехватке в самом воспринимающем, ошибочно отождествляющем «реальность» и наличие, то есть реальность как таковую и реальность того или иного сущего, необходимость существования которого тем или иным образом предписывается определениями мышления. Нет никаких сомнений, что именно таким образом может быть сформулировано центральное положение философии Мейясу — в равной степени фундаментальное и для проекта преодоления корреляционизма в «После конечности»⁴, и для дивинологии «Божественного несуществования»⁵.

3. Ibid. P. 105–110.

4. *Idem.* *Après la finitude — Essai sur la nécessité de la contingence.* Paris: Seuil, 2006.

5. См.: *Harman G. Quentin Meilassoux — Philosophy in the Making.* Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. P. 175–238. Следует отметить, что отношение Мейясу к теологии претерпевает в «Числе и сирене» некоторую трансформацию. Если и в «После конечности», и в «Дивинологии» религиозное просто отождествляется с метафизическим, а тем внутренним ресурсом, который должен быть изъят у религии для предотвращения «теологических переворотов», является реальность как таковая, то есть утверждение возможности доступа к абсолютному, то в «Числе и сирене» выясняется, что изымаемым оказывается и специфический способ данности абсолюта как данности неданного, утверждаемой в качестве

В этом отношении экспроприация «евхаристического модуса присутствия» абсолюта аналогична опровержению корреляционизма: и корреляционист, и клирик самой своей практикой осуществляют прорыв к абсолютному, однако их метафизическая идеология, отождествляющая мышление абсолютного и мышление абсолютного бытия, заставляет их считать реальность этого прорыва нереальной. Отличие теолога от скептика заключается лишь в том, что теолог подставляет на место реальности, которой он владеет, иллюзорную реальность трансцендентного; скептик же, усомнившись в этой реальности, отрицает всякую возможность доступа к абсолютному.

И в той и в другой позиции есть некоторая доля истины: теолог справедливо полагает, что имеет доступ к реальности, однако ошибается относительно ее природы; скептик же справедливо указывает на то, что принимаемое теологом за реальность таковой не является. Именно поэтому спекулятивный философ представляется священнику скептиком, а скептику — священником, но на деле он просто является подлинной реальностью и того и другого, превратившейся из реальности в себе в реальность для себя.

С

Именно необходимость отказа от репрезентации была той причиной, по которой Малларме был вынужден оставить проект «Книги» — попытку создания секулярного аналога мессы. Казалось бы, искусство по самой своей природе вынуждено быть репрезентативным и потому никогда не может претендовать на то, чтобы заменить собой реальное событие явления абсолюта в богослужении. Однако «Бросок костей» превращает это поражение в победу. Подобная трансформация делается возможной благодаря тому, что поэма эта, подобно мессе, является перформативным актом.

Воспользовавшись терминами Барбары Кассен⁶, можно сказать, что все аподейктическое содержание поэмы — это лишь описание того эпидейктического эффекта, сопровождающего ее прочтение: эффект же этот заключается в обеспечении присутствия неданного как такового. В сущности, именно данность неданного дана здесь во всей своей неданности: у того неданного, которое дано в поэме, нет никакого иного содержания,

единственно необходимого и положительного свойства реальности как таковой.

6. См.: *Кассен Б. Эффект софистики.* М.: Московский философский фонд; СПб.: Университетская книга, 2000.

кроме того факта, что оно является данностью неданного (заметьте, что именно тематизация эффекта, всегда сопровождающего высказывание скептика, является основанием опровержения позиции корреляциониста и в «После конечности»: высказывание корреляциониста, опровергающего спекулятивное утверждение о необходимости контингентного и утверждающего возможность существования метафизического абсолюта, по своей перформативной сути является именно указанием на «возможность иного»; возможное-для-познания каждый раз превращается в реально-возможное благодаря тому, что эффект утверждения возможного-для-познания — необходимое условие корреляционистского мышления возможности «не так», перемены — делается объектом следующего утверждения; утверждение спекулятивного реалиста — всегда-второе по отношению к утверждению корреляциониста, оно всегда будет следовать за всяким утверждением скептика, поскольку по сути своей оно является превращением его эпидейктического эффекта в аподейктическое утверждение).

Это замыкание данности неданности на себя и ее утверждение в качестве единственной реальности делается возможным благодаря наличию в тексте «Броска костей» скрытого эндогенного кода, расшифровке которого и посвящена книга Мейясу.

D

Основные этапы этой расшифровки, разворачивающейся в «Числе и сирене», могут быть резюмированы следующим образом:

- 1) истиной поэмы Малларме, которая может быть нами объективно познана, является ее исчислимое свойство — число слов в «Броске костей», составляющее (исключая последнее предложение, содержащее семь слов и представляющее собой ключ к коду) 707;
- 2) эта истина дана нам как отсутствующее присутствие, то есть как необходимость, наличие которой сомнительно;
- 3) этот факт заставляет традиционных интерпретаторов поэмы полагать, что мы имеем дело с некоторого рода отсутствием знания;
- 4) однако именно это отсутствие знания и есть подлинное знание — знание об отсутствующе-присутствующем характере необходимости, который отражен в структуре числа 707.

Сама поэма в числовом измерении своего развертывания и есть то единственное число, которое не может быть иным, — число,

грядущее явление которого является объектом описания. Число 707 своей структурой выражает превращение хаоса в необходимость — необходимость, не отменяющую случайность, но рождающуюся из нее и идентичную ей. 7 — число рифм в классическом сонете и число звезд в созвездии Малой Медведицы, «северной семерки», упоминаемой на последней странице поэмы: установление связи без связи между разделенными абсолютной пустотой ночного неба звездами представляет собой, согласно Малларме, действие, аналогичное действию поэта, создающему связь без связи между абсолютно разделенными словами. Эта связь отрицается пустотой нуля, абсолютного отсутствия смысла и необходимости и утверждается вновь, поскольку ее связность по самой своей сути и есть связность бессвязного, связность, единственным основанием которой является отсутствие всякой связи, необходимость, утверждающая в качестве абсолютно необходимого именно отсутствие всякой необходимости. Подобного рода диалектическое отрицание (эту диалектику Мейясу характеризует как «не гегельянскую, но реальную»⁷) не приводит к возврату в изначальную точку: прохождение через пустоту нуля не утверждает идентичность семерки, но ведет к возникновению нового числа, включающего в себя пустоту и возникающего из нее.

Именно на явление подобного числа — числа, воплощающего самую суть современной поэзии, отмеченной, благодаря наличию в ней разделяющей пустоты рифмы, доминированием двойки и противоположной в этом отношении поэзии античной, находящейся под властью единицы, числа, в структуре которого находит свое выражение самая суть прекрасного, исток которого в пустоте, отделяющего его от самого себя⁸, — надеется Капитан, зажавший кости в своей ладони и сомневающийся, следует ли ему совершить бросок, результатом которого и должно стать это число, не могущее быть другим. Мы остаемся в неведении, осуществляет ли Капитан бросок, прежде чем его поглощает разверзшаяся пучина. И точно так же само присутствие кода, совершенного числа, воплощаемого поэмой как перформативным актом, продолжает оставаться сомнительным. Наличие в поэме составных слов всегда дает возможность проинвестировать подсчет по-другому: бессвязная связь тире, разделяющего две части слова *peut-être*, утверждает статус необходимости числа слов поэмы как вечное «быть может».

Однако именно подобного рода жертвоприношение поэмой собственного смысла на алтарь случайности и есть разыгрыва-

7. Meillassoux Q. Op. cit. P. 74.

8. Ibid. P. 78.

ющеся в ходе ее разворачивания таинство: колебание между наличием в поэме кода и его отсутствием и есть способ присутствия кода, присутствия в качестве отсутствующего и неданного. Именно восстановление этой неданной данности во всей ее положительной определенности и делает возможным явление «тела славы» Малларме как инстанции вечного встряхивания костей, зажатых в ладони, как того, кто одновременно совершает выбор и отказывается от него, подчиняет расположение слов в поэме скрытому коду и избегает какого бы то ни было кодирования. Мало того, само явление этого «тела славы» в книге Мейясу ретроактивно проясняет также и то, что исторический Малларме одержал победу: ему удалось приравнять себя к фиксированной бесконечности необходимости случайного.

З

А

Экспроприрующее изъятие отсутствующего присутствия и избавление его от фальшивой метафизической идеологии служит основанием для утверждения абсолютной истинности математизируемых высказываний о реальности; в этом отношении предприятие, осуществляемое Мейясу в «Числе и сирене», полностью изоморфно преодолению корреляционизма в «После конечности». Однако если в первой книге Мейясу процесс подобного обоснования оставался не доведенным до конца и был лишь намечен в качестве будущей перспективы, то «Число и сирена» движется дальше по пути прояснения связи между абсолютной необходимостью отсутствующего присутствия и абсолютной необходимостью числа.

Путь этот, подобно возобновляемому им пути «Метафизических размышлений» Декарта, представляется на первый взгляд определяемым траекторией «туда и обратно»: объект поэмы Малларме — процесс ее расшифровки, однако объектом процесса расшифровки, в свою очередь, является сама поэма. Но замкнутость этого круга мнима: подобно маршруту картезианских медитаций, ведущему от мира к данности неданности *cogito*, а от нее возвращающемуся к миру математизируемых первичных качеств, маршрут «Числа и сирены» также возвращается не к исходной данности поэмы, а к материально наличествующему в ней и отщепляемому благодаря самому движению интерпретации «телу славы» — произвольной необходимости числа⁹.

9. Точнее было бы сказать, что в «Числе и сирене», так же как и в «После конечности», речь идет о напряжении между двумя неразличаемыми

Однако именно природу этого воскрешаемого субстрата следует подвергнуть более тщательному анализу. Продвижение вперед по пути обоснования абсолютной необходимости математического до конца позволяет выявить происходящую в процессе подобного воскрешения подмену — подмену, которая указывает на то, что стены «теологической тюрьмы» становятся только толще в результате ее перехода под власть имманентного.

В

Подобно преодолению корреляционизма в «После конечности», расшифровка эндогенного кода «Броска костей» призвана выявить абсолютный характер определенного рода необходимости. Но о какой именно необходимости идет речь? Казалось бы, ответ на этот вопрос ясен: это необходимость контингентного, необходимость данности неданного, структура которой и разворачивается в не-гегельянской диалектике числа 707. Однако наряду с этим ответом в «Числе и сирене» присутствует также и другой. Именно неразличающая редукция второго ответа к первому и есть главное слепое пятно мысли Мейясу и одновременно та основополагающая слепота, которая является сутью внутреннего ядра теологии; тьма, окружающая Бога и мешающая взглянуть ему в лицо.

В наиболее ясном виде сущность этого второго ответа проясняется в обсуждении Мейясу тех оснований, которые оправ-

и накладывающимися друг на друга траекториями: 1) движением двойной трансгрессии, в котором мысль фиксирует всегда ускользающий от нее эффект своего собственного разворачивания, не имеющего, в свою очередь, никакого иного содержания, кроме постоянного ускользания от самого себя и превосхождения самого себя (этому движению соответствует движение декартовских медитаций от данности мира к всегда сопровождающему его эффекту когито, который, в свою очередь, отсылает к всегда превосходящему его божественному совершенству); 2) движением «туда и обратно», возвращающим от данности неданного эффекта к данности неданного кода (изоморфное декартовскому возвращению через онтологическое доказательство к миру как миру первичных качеств). В сущности, мы имеем здесь дело с взаимным уравновешиванием двух противоположенных сбоев механизма по обеспечению данности неданного. Функционирование этого механизма в модусе двойной трансгрессии приводит к нарушению равновесия в пользу неданного, а функционирование в модусе «туда и обратно», напротив, нарушает равновесие в пользу данного; при этом в «После конечности» равновесие этого метамеханизма по удержанию равновесия минимальным образом нарушено в пользу первой его составляющей, а в «Сирене и числе» — в пользу второй; центральный же объект мысли Мейясу — гиперхаос или необходимость контингентного — дан как раз благодаря взаимному уравновешиванию этих двух сбоев.

дывают предприятие Малларме с чисто поэтической точки зрения. Казалось бы, наличие в тексте поэмы шифра — пусть даже и эндогенного — полностью противоречит самой сути поэтического, превращая «Бросок костей» в некое подобие шарады или детской игры. Однако дело обстоит полностью противоположным образом: подчинение словесного континуума случайной необходимости числа по сути дела впервые позволяет поэзии полностью реализовать свой внутренний принцип — стать полем явленности того материального субстрата мысли, который всегда сопровождает ее развертывание, но всегда затеняется ее слишком человеческим смыслом.

Именно на наличие подобного субстрата указывают, согласно интерпретации Мейясу, последние слова поэмы. «Каждая мысль производит бросок костей» — это не просто смутное и абстрактное указание на то, что всякая мысль представляет собой своего рода пари; речь здесь идет о том основополагающем факте, что каждая мысль, будучи лингвистически оформленной, продуцирует случайное число — она существует лишь как сочетание того или иного количества языковых элементов, необходимых для ее выражения¹⁰.

В обычном повседневном использовании языка этот аспект его функционирования оказывается вне сферы нашего внимания. Случайность того факта, что то или иное содержание выражается с помощью определенного количества звуков, слогов или слов, затягивается нашей сосредоточенностью на выражаемом смысле. Однако именно в поэзии эта материально-количественная фактическая составляющая языка выходит на первый план: поэт — это тот, кто считает звуки, слоги и слова, чтобы упорядочить их расположение в соответствии с требованиями размера. Иными словами, в поэтическом функционировании языка следование слов друг за другом определяется не внешними по отношению к ним требованиями выражаемого смысла,

10. Ibid. P. 53. Обращение к такому материальному субстрату мысли ни в коей мере не является для Мейясу некоторым случайным и уведящим в сторону поворотом. Именно подобного рода «внесмысловая материальность семиотического знака», отличающая его от осмысленного единства онтической вещи, служит главным принципом перехода от необходимости фактуальности к необходимости математического в единственной на настоящий момент попытке Мейясу наметить контуры продолжения движения, не завершено в «После конечности», в его лекции *Contingence et absolutisation de l'un* (URL: <http://www.scribd.com/doc/20861612/Meillassoux-Contingence-Et-Absolutisation-de-l-Un>). Любопытно отметить в этой связи сходные идеи Ника Лэнда о несводимом к семантике и логике «вечном гиперкосмическом наслаждении» числовой составляющей слова. См.: Land N. Quabbala 101 // Collapse. September 2006. 1. P. 271–285.

но внутренними свойствами того материального и полностью случайного субстрата мысли, который обычно полностью выпадает из поля нашего зрения (собственно, именно это и имел в виду Якобсон, определяя сущность поэтической функции языка как проекцию принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации)¹¹.

Случайность материального субстрата никоим образом не отменяется, однако его произвольные составляющие оказываются упорядоченными в соответствии с требованиями особого рода внесмысловой необходимости — необходимости, удерживающей их вместе именно в их разрозненности, заставляющей одно слово следовать за другим без того, чтобы это следование могло быть фундировано в единстве выражаемого смысла. Внетелеологическая телеология стиха не подчиняет разрозненность материального субстрата мысли требованиям предустановленного единства, но также не позволяет ему распаться в полной бессвязности; она удерживает лучшие слова в лучшем порядке, но именно как разрозненные, как звезды Малой Медведицы, разъединяемые тьмой ночного неба без Бога, без того, чтобы это «лучшее» могло быть редуцировано к единству какого бы то ни было трансцендентного Блага.

707 «Броска Костей» занимает в этом отношении промежуточное положение между избыточной телеологией александрийского стиха и полным отсутствием регулирующего принципа в верлибре. Именно необходимость подобного рода промежуточной позиции отстаивал Малларме в дискуссии о свободном стихе: необходимость имманентного размера, который, несмотря на разрушение трансцендентной предписывающей структуры александрийского стиха, все же не коллапсировал бы в полную бесструктурность верлибра. Чрезмерной и внешней связанности классического стиха и чрезмерной бессвязности стиха свободного должен противостоять уникальный размер — связь без связи, имманентная данному конкретному разворачиванию материального субстрата мысли, необходимость, имеющая силу только для него, но остающаяся необходимостью¹². Только такого рода необходимость сможет удовлетворить дух, отказывающийся находить свою истину в субстанции, дух, для которого высшие ценности потеряли свою значимость, для которого всякая трансцендентная необходимость, фундирующая ту или иную фигуру сознания, ощущается как ложная и фальшивая. Эта необходимость без необходимости, упраздняющая случай

11. Якобсон P. O. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 193–230.

12. Meilassoux Q. Op. cit. P. 24–33.

именно потому, что она ему полностью идентична, и реализуется кодом «Броска костей» — уникальным размером, имеющим силу только однажды в истории, только для этой поэмы и удерживающим вместе ее 707 разрозненных слов.

С

«Всякая мысль производит бросок костей» означает: всякая мысль, помимо своего смыслового содержания, является соединением разъединенного, удерживанием вместе разделенного как такового. Именно вопрос о возможности доступа к подобного рода материальному субстрату мысли, о его непосредственном и положительном рациональном познании, о превращении его из постоянно сопровождающего и постоянно ускользающего эффекта мысли-в-себе в объект мысли-для-себя и является главным в «Числе и сирене», как и во всем спекулятивном предприятии Мейясу. Казалось бы, не-гегельянская диалектика числа 707, лежащая в основе механизма по удерживанию данности неданного, и является ответом на этот вопрос: удерживание вместе разделенного как такового становится положительным объектом знания как утверждение бесконечного чередование наличия и отсутствия необходимости, как уничтожение необходимости соединения, необходимости черты, удерживающей вместе звезды и слова пустотой отсутствия, и ее возникновение вновь, ее выныривание из бездны в качестве утверждения положительной необходимости именно этого стирания и уничтожения.

Однако обратим внимание на происходящую здесь подмену одного вопроса другим. Негегельянская диалектика данности неданного не предоставляет отчета о положительном содержании материального субстрата мысли, она только указывает на тот способ, каким этот субстрат дан для мысли в обычном модусе ее функционирования. Данность неданного не предоставляет никакого положительного знания об удерживании вместе разделенного как такового, она продолжает оставаться косым взглядом на материальный субстрат мысли с точки зрения мысли, находящейся в состоянии блокированности и отделенности от своей собственной субстанции. По сути дела, объектом рационального познания становится только топика. «Ничто не имеет места, кроме места». При всей своей положительности превращение ускользания из эффекта мысли в ее объект лишь указывает на то место, где располагается соединение несоединенного, но ничего не говорит о том, что оно из себя представляет. Положительность фактуальности постольку, поскольку она может быть рациональна познана, продолжает оставаться только требованием положительности, только указанием на ту

область «посередине», данную в бесконечном чередовании наличия и отсутствия необходимости, где пребывает абсолютное. Рациональное познание способно лишь зафиксировать местонахождение абсолютного как ту область, через которую оно постоянно перескакивает, как некоторый твердый обломок, находящийся посреди ничто, об который оно то и дело спотыкается. Однако положительное содержание находящегося в этой области ускользает от знания, а значит, отдается на откуп интуиции. Мы призваны сами удостовериться в наличии этой положительности в помещенном следом за расшифровкой Мейясу полном тексте «Броска костей», который и завершает книгу.

Мы действительно имеем здесь дело с «негегельянской диалектикой» — с диалектикой Шеллинга, диалектикой, призванной убедить разум в его бессилии и подготовить к прыжку в область абсолютного. И недаром областью разворачивания связанности бессвязанного оказывается здесь прекрасное: эстетическая резервация, в которой удерживание вместе разделенного как такового пребывает начиная с кантовских критик, обнесенное надежными оградами отрицательных определений и доступное в своей положительности лишь интуиции. Но если так, то основная цель проекта Мейясу остается невыполненной — вместо «иррелигиозного» рационального положительного познания абсолюта мы продолжаем оставаться отделенными от абсолюта бесконечной чередой отскакиваний, которые и остаются единственным, что мы можем познать.

D

Проблема удерживания вместе разделенного как такового ставится на повестку дня и объявляется центральной, но лишь для того, чтобы быть мгновенно отождествленной с проблемой данности неданного и редуцированной к ней. Эта смыкающаяся трансформация и является подлинным центром мысли Мейясу. По сути дела, именно это утверждение равенства связанности несвязанного и данности неданного вынесено в заглавие книги: сирена, о которой идет здесь речь, — это та «маленькая сумрачная фигура», которая появляется на мгновение из бездны волн, уже поглотившей Капитана; то затемняемая, то освещаемая сполохами бури, она выныривает на поверхность и оказывается увенчанной плюмажем черной шапочки Капитана, оставшейся на плаву после того, как он пошел ко дну.

Согласно интерпретации Мейясу, речь здесь идет не о каком-то мифическом существе, но о деревянном обломке, статуе, которая была прежде установлена на носу потерпевшего крушение корабля. В этом антропоморфном обломке деревянной ста-

туи, всплывающем, но тут же тонущем, способном преодолеть тянущую ко дну тяжесть ровно в той степени, которая необходима для не удерживающего удерживания спектрального венца, тела славы, плюмажа, оставшегося от утонувшего Капитана, достигает предельной явленности своего рода первичная качественность «твердости без тяжести», владеющая мыслью на протяжении последних двадцати лет. «Событие» Бадью, «насыщенный феномен» Мариона, «Реальное» Жижека, «пластичность» Малабу, «фактуальность» самого Мейясу — все это лишь различные концептуальные переработки и расфасовки этой первичной стихии твердого ядра, являющегося на мгновение из пустоты и тут же вновь исчезающего в нем, но именно в этой своей мгновенной непроницаемости являющемся куда более реальным, чем всякая устойчивая и тяжеловесная реальность данного и репрезентируемого. Именно этот твердый и невесомый обломок является подлинным сокровищем, реквизируемым у теологии, — данностью неданного, воскрешаемой в таинстве расшифровки «Броска костей».

И именно с этим осуществляющимся в вертикальной плоскости движением невозможного, сделавшегося возможным, но при этом сохранившего всю свою невозможность, отождествляется горизонтальное разворачивание связи без связи, удерживающей вместе слова на плоскости страницы и звезды на ночном небосклоне. По сути дела, именно наличие этого материального субстрата и есть та сила, которая позволяет сирене всплывать, и есть та твердость, спотыкание об которую превращает пустоту поражения в избыточность победы. Но наш доступ к этой твердости продолжает оставаться опосредованным. Мы имеем дело лишь с последствиями ее действия, но не с ее сутью. Удерживание вместе разделенного как такового поглощается невозможной возможностью сирены, и само определение материального субстрата мысли как «числа» уже является ретроактивным следствием подобного поглощения. Негативная диалектика числа 707 — лишь тень, отбрасываемая на субстанцию способом ее данности для заблокированной и отделенной от нее мысли, тень от обосновываемого, удваивающая его отражение и проецирующая его на основание.

4

A

«Соединение несоединимого = число = сирена»: именно выражаемое этой формулой отождествление проблемы удерживания вместе разделенного является центральной проблемой европейской философии последних двухсот лет — тем перво-

соединенным, которое определяет нынешнюю ситуацию мысли и блокирует ее дальнейшее развитие. В этом отношении мы все еще продолжаем находиться в пределах кантианства. Подлинное значение кантовской философии для современной мысли заключается именно в том, что здесь осуществляется это решающее замыкание, продолжающее определять ее ситуацию и по сей день. Определяющим здесь является подчинение вопроса о синтетических суждениях априори вопросу о трансцендентальном и об условиях возможного опыта. Вопрос о том, каким образом возможна связь без связи в синтезе, об удерживании вместе несвязанного, которое, несмотря на свою разделенность, тем не менее оказывается связанным, о том виде необходимости, который фундирует эту связность, оказывается поглощенным вопросом о платоновском голубе, то есть вопросом о том, как невозможное (запредельное) может быть сделано возможным, не теряя при этом своей невозможности. Этот вопрос, в свою очередь, отождествляется с вопросом о данности неданного — о выявлении особого статуса трансцендентального как сопровождающего опыт в качестве «всегда предшествующего» априорного.

«Число и сирена» лишь в очередной раз повторяет этот основополагающий жест «Критики». Вопреки антикантианству Мейясу, речь идет не о преодолении критической философии, но о воспроизведении ее наиболее существенного элемента. Сирена — прямой наследник голубя: необходимость сохранять равновесие между слишком близким и слишком далеким, отрываться от почвы данного, но не до конца, так, чтобы неданное сохраняло свой статус «данного поверх», является общей схемой как для ее мгновенного выныривания из пучин крушения трансцендентного размера, так и для его полета над руинами сокрушенной метафизики. Маниакально-депрессивное движение этого взлетающего падения или тонущего всплывания, подобно водовороту, продолжает затягивать в свою воронку удерживание-вместе-разделенного-как-такового в коллапсе, который вся посткантовская философия продолжает безудержно воспроизводить, не будучи в силах дать о нем отчет.

B

Чем объясняется непреодолимое притяжение, обуславливающее вечное возвращение этого коллапса в мысли последних двух столетий? Возможно ли прямое и неопосредованное превращение удерживания вместе разделенного как такового в положительный объект знания? Не означает ли подобное превращение возвращения к метафизике и догматизму, подчинения сил мате-

риального внешнего требованиям мышления? Ответ на все эти вопросы может быть дан только материалистической диалектикой совпадения, провозглашающей совпадение, то есть удержание вместе разделенного как такового, единственной субстанцией, выявляющей минимальное проникновение и максимальное прилегание как необходимые первичные свойства или атрибуты подобной субстанции и эксплицирующей генезис производства невозможного как необходимую ступень самораспада и самоблокирования субстанции. Такого рода экспликация сможет дать отчет и о статусе мысли Мейясу — мысли, адекватно дающей отчет о собственной ситуации, однако неспособной преодолеть неадекватность самой этой ситуации, в которой реальность субстанциальной оказывается экспроприированной и присвоенной имманентной невозможностью данного неданного.

В данный момент, однако, нас интересует тот конкретный аспект этой экспроприации субстанциальности совпадения, который непосредственно связан с проблемой оккупации теологического.

С

Сущностью религиозного является возможность переживания невозможного как такового. «Число и сирена» лишний раз выявляет центральность этой формулировки Жана-Люка Мариона¹³ для всего движения «оккупации теологии». Механизм по производству имманентного невозможного должен быть изъят у теологии, поскольку производительные отношения теологического сковывают его функционирование, ставя его на службу производству трансцендентного. Именно подобная смена производственных отношений и стоит на кону во всех попытках радикальной секуляризации, предпринимавшихся за последние десятилетия, от Жижека до Мейясу.

И однако действительно ли именно производство невозможного является тем неизъятым ресурсом, благодаря которому теологическое сохраняет свою способность противостоять всем атакам имманентизирующей современности? Не делается ли эта современность, по паскалевскому выражению, ненадежной и бесполезной из-за того, что оставляет во владении теологии совсем иной элемент — область «сил соединения», определяющих границы каждой сложившейся ситуации и осуществляющих переход от одной ситуации к другой; область, ко-

13. Marion J.-L. *Le visible et le révélé*. Paris: Cerf, 2005. P. 14.

торая в равной мере не может быть охарактеризована ни как область абсолютной случайности, ни как область абсолютной детерминированности?

Именно эта область и является подлинным стратегическим ресурсом, все еще находящимся во владении теологического. Это область инфантильных суеверий, так или иначе связанных с понятиями судьбы, предопределения, область, отношение к которой имманентного и секулярного человека современности отмечено в высшей степени характерной двойственностью «как бы» и «не всерьез» — двойственностью отрицания, которое яснее, чем что бы то ни было, указывает на невозможность полного отказа. Именно такого рода отрицание приводит к изгнанию бессвязной связанности в заповедники эстетического или гетто астрологических прогнозов; все это — колючая проволока, отмечающая границы той сферы, в существовании которой современный просвещенный человек, достигший состояния взрослости и отваживающийся знать, не готов признать даже самому себе ввиду ее постыдно-детского, суеверного характера — сферы, в которой он продолжает самым несуразным и противоречащим всем его убеждениям образом верить в наказание и награду и в наличие в том, что происходит с ним, лишенной всякой необходимости необходимости.

Д

Только рациональный доступ к этой области сопряжения событий, сфере связанности, не могущей быть редуцированной к единству смысла, но и не являющейся простым отсутствием связи, сфере удерживания вместе разделенного, которая инстинктивно — и совершенно справедливо — ощущается нами как подлинно субстанциальная, и сможет обеспечить настоящую экспроприацию теологического. Однако путь к подобной экспроприации лежит не через освобождение имманентного невозможного, а через освобождение от него. Именно подчинение силы сопряжения диктату данности неданного и является подлинной сутью внутреннего ядра теологии. Субстанциальность совпадения представлена здесь лишь косвенно, как соединение необходимости и произвольности в невозможной возможности божественной воли¹⁴. Эта воля является на деле только аб-

14. Это утверждение по необходимости остается здесь чисто декларативным; для его обоснования необходим детальный анализ всей внутренней структуры теологического и прояснение его места в процессе самоблокирования субстанциальности совпадения. Мы ограничимся лишь указанием на то, что сама теологическая мысль в своих наивысших проявлениях

стракцией, заменяющей реальный отчет об удерживании вместе разделенного его формальной и негативной характеристикой, однако реальность совпадения отчуждается в пользу этой абстракции и становится заимствованной и вторичной. В рамках теологического соединения несоединенного существует лишь как фундированное в невозможности божественного, как его свойство и проявление.

Удерживание вместе разделенного становится видимым только в преломлении кристалла, заставляющего необходимость и ее отсутствие бесконечно чередоваться местами, непрестанно отсылая друг к другу; и этот кристалл присваивает себе реальность того, что видимо сквозь него, выступая одновременно его следствием и его истоком, — имманентная экспроприация теологического в «Числе и сирене» лишь выявляет эту суть теологического, но не изменяет ее. Теология в себе превращается здесь в теологию для себя. Непрозрачность божественного субъекта, скрывающего в себе бесконечное чередование данного и неданного, заменяется пронизываемостью «кристалла бесконечности», бесконечной скорости встряхивания костей в ладони, упраздняющей как неподвижность, так и движение. Однако превращение метафизического отчуждения реальности совпадения в отчуждение имманентное не отменяет самого факта отчуждения: просвещенный тиран продолжает оставаться тираном¹⁵.

раскрывает — пусть и все еще в метафизических терминах — подобно рода вторичность божественной воли по отношению к соединенности несоединенного. Возможно, наиболее показательной здесь — именно ввиду близости ее формулировок к способу постановки проблемы контингентной необходимости в «Числе и сирене» — является спекулятивная теология Шолом Довбер Шнеерсона. «Единство противоположностей» божественной воли, содержащей в себе всю тотальность намерения Бога, раскрывающегося в творении, и данной исключительно как неданность и ускользание от всякой фиксации и от всякого смысла, оказывается здесь лишь косвенной характеристикой субстанциальности «беспредельного света» божественного, определяющей первичную ступень ее раскрытия для мира; субстанциальность же «беспредельного света в себе» отождествляется с «силой соединения», первичной по отношению ко всякому смыслу и намерению: «Превыше же всего и превосходит все... высшая сила... соединяющая и смыкающая буквы. И ясно, что сила эта — не от рассудка, облачающегося в буквы, но выше его. <...> Ибо всякий свет рассудочный, облачающийся в буквы, не с необходимостью должен был быть облачен именно в эти буквы, но мог быть облачен также и в иные, как, например, [сочетание букв] «владыка мира», указывающее на власть и могущество, могло быть заменено [сочетанием букв] «царь мира». А если так, не самим рассудочным [содержанием] обусловлена необходимость того, что облачается оно именно в эти буквы... но высшей по отношению к облаченному в буквы рассудочному силой, соединяющей и смыкающей буквы и облачающей в них рассудочное».

15. «После конечности» и особенно опубликованные отрывки из «Дивинологии»

Е

Проблема экспроприации теологического — это проблема торговли в нагрузку: желанный и необходимый товар продается только вместе с товаром лежалым и ненужным; власть теологического — это власть убежденности в том, что мы не можем получить одного, не получив одновременно с ним и другого. Ситуация только усугубляется тем, что принуждение является не внешним, а внутренним, проистекающим из реальной неотделенности одного товара от другого. Основой для реквизирующего изъятия является именно проведение черты, которая позволит ретроактивно прояснить, что представляющееся единым всегда, по сути дела, было удерживанием вместе разъединенного.

Для участников движения «оккупации теологии» подобного рода черта пролегает между, с одной стороны, возможностью доступа к невозможному и неданному как таковому, а с другой — трансцендентно-метафизическим «необходимым сущим». Теология пытается сбыть оба этих товара под видом одного. Она заставляет нас либо принять комплекс «возможность невозможного плюс необходимое сущее» как целое, либо отказаться от него, уверяя, что это единственный имеющийся в нашем распоряжении выбор. И в том и в другом случае мы окажемся в проигрыше, поскольку изначально согласились играть по предложенным нам правилам. Именно обоснование отказа от подобного выбора и является центром «Числа и сирены», как и всего спекулятивного предприятия Мейясу в целом.

Однако подобного рода проведение черты оставляет нетронутым главное «первосоединенное» теологического. Необходимое сущее — это всего лишь метафизическая обертка, скрывающая подлинный теологический шантаж — шантаж, который заставляет нас либо отказаться от необходимости случайного, либо получить ее в комплексе с имманентным невозможным, как данность неданности необходимого. Именно подобного рода круговорот, превращающий контингентную необходимость в необходимость контингентного, и есть подлинный исток власти теологического. И именно ясное и отчетливое от-

со всей ясностью указывают на то, что подлинным наследником непрозрачного божественного субъекта в философии Мейясу становится время: именно время, наделенное способностью приносить новое, то есть безо всяких оснований превращать любое наличное состояние в какое угодно другое, является той невозможной инстанцией, которая служит субстратом для бесконечно ускоренного чередования наличия необходимости и ее отсутствия; и именно в пользу этого косвенного отображения совпадения отчуждается здесь его субстанциальность.

деление одного от другого является необходимым условием преодоления этой власти.

Теология представляет собой лишь конечный результат коллапса; «Число и сирена» (подобно всей посткантианской мысли) представляет этот коллапс на всем его протяжении, однако та изначальная точка, к которой она возвращается, уже является изначальностью падения. Мысль, которая не способна рассказать о том, что она показывает, и поэтому в самом лучшем случае способная только рассказать о своей неспособности рассказать о том, что она показывает, — это мысль, находящаяся в состоянии грехопадения, мысль, отделенная от своей собственной субстанции кристаллическим херувимом со вращающимся мечом, превращающим реальность удерживания вместе разделенного в маниакально-депрессивное чередование данности и неданности.

Выход за границы поля теологического станет возможным только благодаря выходу за пределы этой ситуации первородного греха благодаря подлинно материалистической мысли, которая сможет обеспечить не только косвенное познание способа данности разворачивающегося параллельно ей и всегда превосходящего ее эффекта, но прямой доступ к этому эффекту — доступ к его субстанции и материальному основанию как чистой связности несвязанного. Настоящая материалистическая теология должна повернуть процесс коллапса в обратную сторону, показать, каким образом имманентная необходимость божественного субъекта вбирается в соединение разъединенного совпадения. Только осуществление такого поворота сможет завершить изъятие субстанциальности теологического, и именно оно и является главной задачей, стоящей перед материалистической мыслью в настоящий момент.